

КОНТИНЕНТ

**Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал**

58

**Издательство «Континент»
1988**

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

В холодную пору, в местности, привычной скорее
к жаре,
чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,
младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;
мело, как только в пустыне может зимой мести.

Ему всё казалось огромным: грудь матери, желтый пар
из воловьих ноздрей, волхвы – Балтазар, Гаспар,
Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.
Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,
на лежащего в яслях ребенка издалека,
из глубины Вселенной, с другого ее конца,
звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

24 дек. 1987 г.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Представь, что война окончена, что воцарился мир.
Что ты еще отражаешься в зеркале. Что сорока
или дрозд, а не юнкерс, щебечет на ветке «чирр».
Что за окном не развалины города, а барокко
города; пинии, пальмы, магнолии, цепкий плющ,
лавр. Что чугунная вязь, в чьих кружевах скучала
луна, в результате вынесла натиск мимозы, плюс
взрывы агавы. Что жизнь нужно начать сначала.

Люди выходят из комнат, где стулья как буква «б» или как мягкий знак, спасают от головокруженья. Они не нужны никому, только самим себе, плитняку мостовой и правилам умноженья. Это – влияние статуй. Вернее, их полых ниш. То есть если не святость, то хоть ее синоним. Представь, что всё это – правда. Представь, что ты говоришь о себе, говоря о них, о лишнем, о постороннем.

Жизнь начинается заново именно так – с картин изверженья вулкана, шлюпки, попавшей в бурю. С порожденного ими чувства, что ты один смотришь на катастрофу. С чувства, что ты в любую минуту готов отвернуться, увидеть диван, цветы в желтой китайской вазе рядом с остывшим кофе. Их кричащие краски, их увядшие рты тоже предупреждают, впрочем, о катастрофе.

Каждая вещь уязвима. Самая мысль, увы, о ней легко забывается. Вещи вообще холопы мысли. Отсюда их формы, взятые из головы, их привязанность к месту, качества Пенелопы, то есть потребность в будущем. Утром кричит петух. В новой жизни, в гостинице, ты, выходя из ванной, кутаясь в простыню, выглядишь как пастух четвероногой мебели, железной и деревянной.

Представь, что эпос кончается идиллией. Что слова – обратное языку пламени: монологу, пожиравшему лучших, чем ты, с жадностью, как дрова; что в тебе оно видело мало проку, мало тепла. Поэтому ты уцелел. Поэтому ты не страдаешь слишком от равнодушья местных помон, вертумнов, венер, церер. Поэтому на устах у тебя эта песнь пастушья.

Сколько можно оправдываться. Как ни скрывай тузы,
на стол ложатся вальты неизвестной масти.

Представь, что чем искренней голос, тем меньше в нем
слезы,
любви к чему бы то ни было, страха, страсти.

Представь, что порой по радио ты ловишь старый гимн.
Представь, что за каждой буквой здесь тоже плетется
свита
букв, слагаясь неволью то в «бетси», то в «ибрагим»,
перо выводя за пределы смысла и алфавита.

Сумерки в новой жизни. Цикады с их звонким «ц»;
классическая перспектива, где не хватает танка
либо – сырого тумана в ее конце;
голый паркет, никогда не осязавший танго.
В новой жизни мгновенью не говорят «постой»:
остановившись, оно быстро идет насмарку.
Да и глянца в чертах твоих хватит уже, чтоб с той
их стороны черкнуть «привет» и приклеить марку.

Белые стены комнаты делаются белей
от брошенного на них якобы для острастки
взгляда, скорей привыкшего не к ширине полей,
но к отсутствию в спектре их отрешенной краски.
Многое можно простить вещи – тем паче, там,
где эта вещь кончается. В конечном счете, чувство
любопытства к этим пустым местам,
к их беспредметным ландшафтам и есть искусство.

Облако в новой жизни лучше, чем солнце. Дождь,
будучи непрерывен – вроде самопознания.
В свою очередь, поезд, которого ты не ждешь
на перроне в плаще, приходит без опоздания.
Там, где есть горизонт, парус ему судья.
Глаз предпочтет обмылок, чем тряпочку или пену.
И если кто-нибудь спросит: «кто ты?» ответ: «кто я,
я – никто», как Улисс некогда Полифему.

1988

РЕКИ

Растительность в моем окне! зеленый колер!
Что на вершину посмотреть, что в корень –
почувствуешь головокруженье, рвоту;
и я предпочитаю воду,
хотя бы – пресную. Вода – беглец от места,
предместья, набережной, арки, кровя,
из-под моста – из-под венца невеста,
фамилия у ней – серова.
Куда как женственна! и так на жизнь похожа
ее то матовая, то вся в морщинках кожа
неудержимостью, смятеньем, грустью,
стремленьем к устью
и к безымянности. Волна всегда стремится
от отраженья, от судьбы отмыться,
чтобы смешаться с горизонтом, с солью –
с прошедшей болью.

В ГОРАХ

1

Голубой саксонский лес.
Снега битого фарфор.
Мир бесцветен, мир белес,
точно извести раствор.

Ты, в коричневом пальто,
я, исчадье распродаж.
Ты – никто, и я – никто.
Вместе мы – почти пейзаж.

2

Белых склонов тишь да гладь.
Стук в долине молотка.
Склонность гор к подножью дать
может кровли городка.

Горный пик, доступный снам,
фотопленке, свалке туч.
Склонность гор к подножью, к нам,
суть изнанка ихних круч.

3

На ночь снятое плато.
Трепыханье фитиля.
Ты – никто, и я – никто:
дыма мертвая петля.

В туче прячась, бродит Бог,
ноготь месяца грызя.
Как пейзажу с места вбок,
нам с ума сойти нельзя.

4

Голубой саксонский лес.
К взгляду в зеркало и вдаль
потерявший интерес
глаза серого хрусталь.

Горный воздух, чье стекло
вздых неведомо о чем
разбивает, как ракло,
углекислым кирпичом.

5

Мы с тобой – никто, ничто.
Эти горы – наших фраз
эхо, выросшее в сто,
двести, триста тысяч раз.

Снизив речь до хрипоты,
уподобить не впервой
наши ребра и хребты
ихней ломаной кривой.

6

Чем объятие плотней,
тем пространства сзади – гор,
склонов, складок, простыней –
больше, времени в укор.

Но и маятника шаг
вне пространства завести
тоже в силах, как большак,
дальше мяса на кости.

7

Голубой саксонский лес.
Мир зазубрен, ощутив,
что материи в обрез.
Это – местный лейтмотив.

Дальше – только кислород:
в тело входящая кутья
через ноздри, через рот.
Вкус и цвет – небытия.

8

Чем мы дышим – то мы есть,
что мы топчем – в том нам гнить.
Данный вид суть, в нашу честь,
их отказ соединить.

Это – край земли. Конец
геологии; предел.
Место точно под венец
в воздух вытолкнутых тел.

9

В этом смысле мы – чета,
в вышних слаженный союз.
Ниже – явно ни черта.
Я взглянуть туда боюсь.

Крепче в локоть мне вцепись,
побеждая страстью власть
тяготенья – шанса, ввысь
заглядевшись, вниз упасть.

10

Голубой саксонский лес.
Мир, следящий зорче птиц
– Гулливер и Геркулес –
за ужимками частиц.

Сумма двух распадов, мы
можем дать взамен числа
абажур без бахромы,
стук по комнате мосла.

11

«Тук-тук-тук» стучит нога
на ходу в сосновый пол.
Горы прячут, как снега,
в цвете собственный глагол.

Чем хорош отвесный склон,
что, раздевшись догола,
все же – неодушевлен;
то же самое – скала.

12

В этом мире страшных форм
наше дело – сторона.
Мы для них – подножный корм,
многоточье, два зерна.

Чья невзрачность, в свой черед,
лучше мышцы и костей
нас удерживает от
двух взаимных пропастей.

13

Голубой саксонский лес.
Близость зрения к лицу.
Гладь щеки – противовес
клеток ихнему концу.

Взгляд, прикованный к чертам,
освещенным и в тени, –
продолженье клеток там,
где кончаются они.

14

Не любви, но смысла скул,
дуг надбровных, звука «ах»
добиваются – сквозь гул
крови собственной – в горах.

Против них, что я, что ты,
оба будучи черны,
ихним снегом на черты
наших лиц обречены.

15

Нас других не будет! Ни
здесь, ни там, где все равны.
Оттого-то наши дни
в этом месте сочтены.

Чем отчетливей в упор
профиль, пористость, анфас,
тем естественней отбор
напрочь времени у нас.

16

Голубой саксонский лес.
Грёз базальтовых родня,
Мир без будущего, без
– проще – завтрашнего дня.

Мы с тобой никто, ничто.
Сумма лиц, мое с твоим,
очерк чей и через сто
тысяч лет неповторим.

17

Нас других не будет! Ночь,
струйка дыма над трубой.
Утром нам отсюда прочь,
вниз, с закушенной губой.

Сумма двух распадов, с двух
жизней сдача – я и ты.
Миллиарды снежных мух
не спасут от нищеты.

18

Нам цена – базарный грош!
Козырная двойка треф!
Я умру, и ты умрешь.
В нас течет одна пся крев.

Кто на этот грош, как тать,
точит зуб из-за угла?
Сон, разжав нас, может дать
только решку и орла.

19

Голубой саксонский лес
Наста лунного наждак,
Неподвижности прогресс,
то есть – ходиков тик-так.

Снятой комнаты квадрат.
Покрывало из холста.
Геометрия утрат,
как безумие, проста.

20

То не ангел пролетел,
прошептавши: «виноват».
То не бдение двух тел.
То две лампы в тыщу ватт

ночью, мира на краю,
раскаляясь добела –
жизнь моя на жизнь твою
насмотреться не могла.

21

Сохрани на черный день,
каждой свойственный судьбе,
этих мыслей дребедень
обо мне и о себе.

Вычесть временное из
постоянного нельзя,
как обвалом верх и низ
перепутать не грозя.

КЕНТАВРЫ I

Наполовину красавица, наполовину софа́,
в просторечьи – Со́фа,
по вечерам оглашая улицу, чьи окна отчасти лица,
стуком шести каблуков (в конце концов, катастрофа
– то, в результате чего трудно не измениться),
она спешит на свидание. Любовь состоит из тюля,
волоса, крови, пружин, валика, счастья, родов.
На две трети мужчина, на одну легковая – Муля –
встречает ее рычанием холостых оборотов
и увлекает в театр. В каждом бедре с пеленок
сидит эта склонность мышцы к мебели, к выкрутасам
красного дерева, к шкапу, у чьих филенок,
в свою очередь, склонность к трем четвертям, к
анфасам
с отпечатками пальцев. Увлекает в театр, где,
спрятавшись в пятый угол,

наезжая впотьмах друг на дружку, меся колесом фанеру,
они наслаждаются в паузах драмой из жизни кукол,
чем мы и были, собственно, в нашу эру.

КЕНТАВРЫ II

Они выбегают из будущего и, прокричав «напрасно!»,
тотчас в него возвращаются; вы слышите их чечетку.
На ветку садятся птицы, большие, чем пространство,
в них – ни пера, ни пуха, а только к черту, к черту.
Горизонтальное море, крашенное закатом.
Зимний вечер, устав от его заочной
синевы, поигрывает, как атом
накануне распада и проч., цепочкой
от часов. Тело сгоревшей спички,
голая статуя, безлюдная танцплощадка
слишком реальны, слишком стереоскопичны,
потому что им больше не во что превращаться.
Только плоские вещи, как то: вода и рыба,
слившись, в силах со временем дать вам ихтиозавра.
Для возникшего в результате взрыва
профиля не существует завтра.

КЕНТАВРЫ III

Помесь прошлого с будущим, данная в камне, крупным
планом. Развитым торсом и конским крупом.
Либо – простым грамматическим «был» и «буду»
в настоящем продолженном. Дать эту вещь как груду
скушных подробностей, в голой избе на курьих
ножках. Плюс нас, со стороны, на стульях.
Или – слившихся с теми, кого любили
в горизонтальной постели. Или в автомобиле,
суть в плену перспективы, в рабстве у линий. Либо

· просто в мозгу. Дать это вслух, крикливо,
мыслью о смерти – частой, саднящей, вещной.
Дать это жизнью сейчас и вечной
жизнью, в которой, как яйца в сетке,
мы все одинаковы и страшны насадке,
повторяющей средствами нашей эры
шестикрылую помесь веры и стратосферы.

КЕНТАВРЫ IV

Местность цвета сапог, цвета сырой портянки.
Совершенно неважно, который век или который год.
На закате ревут, возвращаясь с полей, муу-танки:
крупный единорогий скот.
Все переходят друг в друга с помощью слова «вдруг»
– реже во время войны, чем во время мира.
Меч, стосковавшись по телу при перековке в плуг,
выскальзывает из рук, как мыло.
Поводок норовит отличить владельцев от их собак,
в книге вторая буква выглядит слепком с первой;
возле кинотеатра толпятся подростки, как
белоголовки с замерзшей спермой.
Загнанные в тупик многие поезда
улиц города; и только в мозгу ветерана чернеет квадрат
окопа
с ржавой водой, в который могла б звезда
упасть, спасаясь от телескопа.

* *
*

Теперь, зная многое о моей
жизни – о городах, о тюрьмах,
о комнатах, где я сходил с ума,
но не сошел, о морях, в которых

я захлебывался, и о тех, кого
я так-таки не удержал в объятьях, –
теперь ты мог бы сказать, вздохнув:
«Судьба к нему оказалась щедрой»,
и присутствующие за столом
кивнут задумчиво в знак согласия.

Как знать, возможно, ты прав. Прибавь
к своим прочим достоинствам также и дальноркость.
В те годы, когда мы играли в чха
на панели возле кинотеатра,
кто мог подумать о расстояньи
больше зябнущей пятерни,
растопыренной между орлом и решкой?

Никто. Беспечный прощальный взмах
руки в конце улицы обернулся
первой черточкой радиуса: воздух в чужих краях
чаще чем что-либо напоминает ватман,
и дождь заштриховывает следы,
не тронутые голубой резинкой.

Как знать, может, как раз сейчас,
когда я пишу эти строки, сидя
в кирпичном маленьком городке
в центре Америки, ты бредешь
вдоль горчичного здания, в чьих отсыревших стенах
томится еще одно поколение, плясь
в серобуромалиновое пятно
нелегального полушарья.

Короче – худшего не произошло.
Худшее происходит только
в романах, и с теми, кто лучше нас
настолько, что их теряешь тотчас
из виду, и отзвуки их трагедий
смешиваются с пеньем веретена,

как гуденье далекого аэроплана
с жужжаньем буксующей в лепестках пчелы.

Мы уже не увидимся – потому
что физически сильно переменились.
Встретяся мы, встретились бы не мы,
но то, что сделали с нашим мясом
годы, щадящие только кость;
и собаке с кормилицей не узнать
по запаху или рубцу пришельца.

Щедрость, ты говоришь? О да,
щедрость волны океана к щепке.
Что ж, кто не жалуется на судьбу,
тот ее не достоин. Но если время
узнаёт об итоге своих трудов
по расплывчастости воспоминаний,
то – думаю – и твое лицо
вполне способно собой украсить
бронзовый памятник или – на дне кармана –
еще не потраченную копейку.

ДОЖДЬ В АВГУСТЕ

Среди бела дня начинает стремглав смеркаться, и
кучевое пальто норовит обернуться шубой
с неземного плеча. Под напором дождя акация
становится слишком шумной.
Не иголка, не нитка, но нечто бесспорно швейное,
фирмы Зингер почти с примесью ржавой лейки,
слышится в этом стрёкоте; и герань обнажает шейные
позвонки белошвейки.

Как семейно шуршанье дождя! как хорошо заштопаны
им прорехи в пейзаже изношенном, будь то выпас
или междудеревье, околица, лужа – чтоб они

зрению не дали выпасть
из пространства. Дождь! двигатель близорукости,
летописец вне кельи, жадный до пищи постной,
испещряющий суглинок, точно перо без рукописи,
клинописью и оспой.

Повернуться спиной к окну и увидеть шинель с погонами
на коричневой вешалке, чернобурку на спинке кресла,
бахрому желтой скатерти, что, совладав с законами
тяготенья, воскресла
и накрыла обеденный стол, за которым втроем за
ужином
мы сидим поздно вечером, и ты говоришь сонливым,
совершенно моим, но дальностью лет приглушенным
голосом: «Ну и ливень».

ОТКРЫТКА ИЗ ЛИССАБОНА

Монументы событиям, никогда не имевшим места:
Несостоявшимся кровопролитным войнам.
Фразам, проглоченным в миг ареста.
Помеси голого тела с хвойным
деревом, давшей Сан-Себастьяна.
Авиаторам, воспарявшим к тучам
посредством крылатого фортепьяно.
Создателю двигателя с горючим
из отходов воспоминаний. Жёнам
мореплавателей – над блюдом
с одинокой яичницей. Обнаженным
Конституциям. Полногрудым
Независимостям. Кометам,
пролетевшим мимо земли (в погоне
за бесконечностью, чьим приметам
соответствуют эти ландшафты, но не
полностью). Временному соитью

в бороде арестанта идеи власти
и растительности. Открытью
Инфарктики – неизвестной части
того света. Ветреному кубисту
кровель, внемлющему сопрано
телеграфных линий. Самоубийству
от безответной любви Тирана.
Землетрясенью – подчеркивает современник –
народом встреченному с восторгом.
Руке, никогда не сжимавшей денег,
тем более – детородный орган.
Сумме зеленых листьев, вправе
заранее презирать их разность.
Счастью. Снам, навязавшим яви
за счет населенья свою бессвязность.

1988

В КАФЕ

Под раскидистым вязом, шепчущим «че-ше-ще»,
превращая эту кофейню в нигде, в вообще
место – как всякое дерево, будь то вяз
или ольха – ибо зелень переживает вас,

я, иначе – никто, всечеловек, один
из, подсохший мазок в одной из живых картин,
которые пишет время, макая кисть
за неимением, верно, лучшей палитры в жисть,

сизу, шелестя газетой, раздумывая, с какой
натуры всё это списано? чей покой,
безымянность, безадресность, форму небытия
мы повторяем в летних сумерках – вяз и я?